

ОСВОБОЖДЕНИЕ

В большой уютной квартире архитектора Руфуса Хеймекера на Сентрал-Парк-Уэст тишина. Едва светает. Из высоких зеркальных окон, которые так облагораживают фасад дома, виден парк напротив; ряды величавых тополей еще окутаны утренней дымкой. Из окна спальни тоже виден краешек парка, но мистер Хеймекер, поднявшись в этот ранний час, прошел через холл в гостиную, чтобы, сидя здесь, у широкого окна, любоваться деревьями и маленьким озером за ними. Он так любит природу во всем ее многообразии, он — поэт в душе.

Хеймекеру под шестьдесят; он худощав и слегка сутул, но не лишен изящества; густые волосы, нависшие брови, коротко подстриженные седеющие усы и борода придают некоторую суровость его тонкому лицу. На нем широкий и длинный светло-синий халат, отделанный серебряным шнуром. Тонкие, бледные, морщинистые руки, длинные пальцы, слегка узловатые в суставах, выдают художника если не по профессии, то по натуре; глаза смотрят устало и в то же время беспокойно.

Уже три недели его жена страдает болезнью сердца, почек и нервной системы; и вот вчера доктор Сторм, их домашний врач, отвел его в сторону

и мягко, дружески, явно стараясь щадить его чувства, сказал:

— Если до завтра вашей супруге не станет лучше, мистер Хеймекер, я приглашу для консультации моего коллегу, доктора Грейнджера, — вы его знаете. Он больше понимает в этих сердечных недугах, чем я. — («Сердечные недуги», — иронически повторил про себя Хеймекер.) — Мы ее тщательно осмотрим и тогда, надеюсь, сможем с большей уверенностью сказать, в какой мере можно рассчитывать на ее выздоровление. Это тяжелый случай, я бы сказал, весьма трудно поддающийся лечению. Но организм очень стойкий и в общем сопротивляется болезни лучше, чем можно было ожидать. И все же... я не хочу понапрасну пугать вас, да пока и нет поводов для чрезмерной тревоги... все же мой долг предупредить вас, что ее состояние очень серьезно. Я не хочу сказать, что нет надежды. Я этого не думаю. Совсем нет. Как раз напротив. Она может выздороветь, это вполне вероятно, и, пожалуй, проживет еще лет двадцать. — (Тут Хеймекер подавил тяжелый вздох.) — Судя по всему, силы у нее могут восстановиться, но сердце скверное и обострение болезни почек, конечно, не улучшает дела. Именно сейчас, когда сердцу вредна всякая лишняя нагрузка, ему приходится работать сверх меры.

Можно сказать, что сейчас она — накануне кризиса. День, два, самое большее четыре — и будет ясно, какой это примет оборот. Но, как я уже сказал, я не хочу понапрасну пугать вас. Мы далеко не исчерпали всех наших возможностей. Мы еще не прибегли к переливанию крови, а ведь в пользу этого можно многое сказать. Кроме того, в любую минуту ее организм — особенно почки — может энергичнее реа-

гировать на лечение, и тогда положение сразу изменится к лучшему.

Однако, повторяю, мой долг обязывал меня поговорить с вами, чтобы вы были готовы к худшему, потому что при таком сложном заболевании трудно предвидеть, каков будет исход. Тут заранее ничего не скажешь. Я старый друг вашей семьи, я знаю, как много вы значите для нее и она для вас... — (Хеймекер посмотрел на него отсутствующим взглядом.) — И я считаю своим долгом подготовить вас. Всем нам приходится переживать это. Вы ведь знаете, только в прошлом году я потерял мою Матильду, мою младшую дочку. Но все же, повторяю, я вовсе не думаю, что миссис Хеймекер при смерти, — я надеюсь, нам с доктором Грейнджером еще удастся поставить ее на ноги. Очень надеюсь.

Доктор Сторм посмотрел на Хеймекера с искренним сожалением — ведь он уже старик, прожил с женой столько лет, привык к ней, — конечно, для него будет большим несчастьем потерять ее. А Хеймекер, застыв словно статуя, думал о том, какой все это нелепый фарс, как заблуждаются все вокруг. Вот ему уже почти шестьдесят, он устал от всего, устал от жизни, и никогда он не был по-настоящему счастлив, с тех пор как женился; а между тем жена, которая обо всем судит по внешности, убеждена, что он должен быть счастлив с ней, и поэтому сама едва ли не безмятежно счастлива. Вот и доктор смотрит на него как на дряхлого старика, который нуждается в заботе, сочувствии и понимании своей любящей жены! Невольно Хеймекер поднял руку, словно что-то отстраняя от себя.

И дети тоже думают, что он нуждается в ней и счастлив с нею, и слуги так думают, и друзья, —

и все-таки это неправда. Все это ложь. Он несчастлив. Он всегда был несчастлив — кажется, с тех самых пор, как женился, — уже тридцать один год. За все это время не было дня, чтобы он не тосковал, не терзался бессильным, затаенным желанием: едва осмеливаясь думать об этом, он хотел одного — не быть женатым, быть свободным, каким он был когда-то, раньше чем встретился с Эрнестиной.

Но, верный своему характеру и воспитанию, он не решался отступить от общепринятой морали; притом тут действовали силы, над которыми он, казалось, был не властен, — сама природа, обычай, общественное мнение и прочее и прочее, — они подавляли его, и он плыл по течению, неспособный бороться с ними. Да, он просто плыл по течению, втайне надеясь, что, быть может, время, случай или еще что-то вмешается и изменит его жизнь к лучшему. Но этого так и не случилось. И вот теперь, усталый, старый или, во всяком случае, быстро стареющий, он осуждал себя за свою слабость. Почему он даже не попытался ничего сделать? Почему не разорвал эти цепи, когда было еще не поздно, когда он еще мог сохранить свою душу, свою страстную любовь к жизни, к ее краскам? Но нет, он не сделал этого. Что ж теперь так горько жаловаться?

И накануне, слушая доктора, он все время сдерживал холодную, циничную усмешку: ведь на самом деле он вовсе не хотел, чтобы жена осталась жива, — по крайней мере, так ему казалось в ту минуту. Он слишком устал. Почти сутки думал он свою невеселую думу — и вот он сидит у окна, смотрит на слабо освещенный, окутанный утренней дымкой дом неподалеку, проводит изредка рукой по волосам и тяжело вздыхает.

Сколько раз в эти томительные месяцы и даже годы, с тех пор как он с женой поселился здесь (да и прежде так бывало), он подходил к окну в час, когда она еще спала, и думал, думал. В последние годы они стали так далеки друг от друга, что даже комната у каждого своя; впрочем, она как будто не придает этому значения. Жизнь стала для нее более или менее практической задачей: ее заботит их доброе имя, положение в обществе, их репутация. А он... как часто, оглядываясь назад, он жалел, что его жизнь так не похожа на все, о чем он мечтал... Если бы, если бы мечты его сбылись!

Было еще совсем рано, серое небо на востоке едва заметно розовело; Хеймекер задумчиво и печально покачал головой, поднялся и, пройдя через холл к спальне жены, заглянул туда; в кресле у кровати крепко спала сиделка; врач велел ей не спускать глаз с больной, но, как видно, усталость сморила ее. Жена тоже спала — такая бледная, исхудалая, ослабевшая. Он очень жалел ее порою, хоть и сам был сильно измучен; вот и сейчас ему жаль ее. Зачем тогда, много лет назад, он совершил такую страшную ошибку? Быть может, он сам виноват: почему не был умнее в юности! И он медленно пошел в свою комнату, снова лег и опять погрузился в раздумье.

Все эти дни, когда она была так серьезно больна и самая жизнь ее висела на волоске, он просыпался на рассвете и думал. Казалось, он уже просто не в силах уснуть здоровым, крепким сном, — так одолевали его тревожные, беспорядочные мысли. Он даже не столько физически устал и измучился, сколько душевно измотан и растерян. Что и говорить, жизнь сыграла с ним злую шутку. Никогда он по-настоящему не любил, а ведь уже столько лет женат, и все

эти годы был верен, внимателен и любим... Да, она, как умела, любила его. «Как умела», — с горечью прошептал он.

Скоро уже надо вставать, одеваться и, как всегда, идти в контору, если только жене не станет хуже. Но... но... выживет ли она? Она все-таки некрепкая, хоть и держалась до сих пор... И ведь ей почти столько же лет, сколько ему... быть может, она не справится с такой тяжелой болезнью? Тогда он снова станет свободен, и никто не сможет его осудить, ни в чем упрекнуть. И тогда снова можно будет поехать, куда захочется, и делать, что хочешь, и никто не помешает. Ведь она больна, тяжело больна, впервые с тех пор, как они женаты. Вот уже почти месяц она между жизнью и смертью: сегодня ей лучше, завтра хуже, но все же она жива, и нет уверенности, что смерть неизбежна, однако и лучше ей не становится. Доктор Сторм утверждает, что у нее неожиданно обострился порок сердца, — это как раз самое опасное, и неизвестно, как с этим справиться.

Все это время Хеймекер был, по своему обыкновению, чрезвычайно внимателен к жене. Он неизменно был мягок, уступчив, даже нежен. Он никогда ни в чем не отказывал ей, делал все, что было в его силах. Он всегда радовался, когда она и дети были довольны и счастливы... А ведь он и в детях разочаровался, и виновата в этом прежде всего она... Он всегда сочувствовал ей, помня, что в юности ей жилось скучно и скудно; но сам он никогда не был счастлив, никогда, за все время, что они женаты. Да, ей пришлось многое вынести, твердил он себе в самые горькие минуты, но ведь и ему тоже... правда, может быть, женщинам это дается труднее — возможно... зато у нее есть его любовь, — по крайней мере, так ей

кажется, и на душе у нее мир, которого он лишен. У нее есть верный муж. У него нет и не было настоящей жены, которую он любил бы, как любят жен. А как он мечтал об этом!

В тот день по дороге в контору (она помещалась в одном из тех высоких зданий, что выходят на Мэдисон-сквер), проезжая мимо Сентрал-Парк-Уэст, он смотрел на стройные ряды деревьев, на ярко освещенные солнцем дома, и снова горькие мысли завладели им. На тротуарах толпились няньки с младенцами, играли детишки, редкие пешеходы неторопливо прогуливались, другие спешили по своим делам. А день был такой чудесный, такой солнечный, какие выдаются лишь весной, да и то изредка. И, глядя вокруг, особенно на детей и на спешивших на службу молодых людей в новеньких, с иголочки, весенних костюмах, он со вздохом подумал: если бы снова стать молодым! Сколько в них огня, сколько надежд! У них все впереди. Они могут еще искать и выбирать... ни годы, ни обстоятельства — ничто еще не стоит у них на пути. Кто из них связал себя так же нелепо, как он в их годы? — в сотый раз спрашивал он себя. Быть может, у каждого из них есть очаровательная молодая жена, горячо и страстно любимая, такая, какой никогда не было у него? Может быть...

Поглощенный этими мыслями, он поднялся в свою контору, в верхний этаж одного из самых высоких зданий, и, подойдя к окну, устало посмотрел на раскинувшийся внизу город. Отсюда были видны обе большие реки, пересекающие город¹, башни, шпили, стены далеких зданий. Это иногда и по сей день по-

¹ Имеются в виду река Гудзон и пролив Ист-Ривер, частично протекающие по территории Нью-Йорка. — *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания С. Антонова.*

могало ему терпеть, жить и надеяться. Как все это вдохновляло его в юности... Впрочем, тогда он жил в другом городе. Даже теперь, здесь, в конторе, он чувствовал себя куда лучше и спокойнее, чем в собственном уютном доме. Отсюда можно смотреть на раскинувшийся внизу город и мечтать... или с головой уйти в работу и забыть, что личная жизнь не удалась. Огромный город, здания, которые он задумывал или строил, способные и преданные помощники, которых он сам подобрал, не спрашивая жену, — среди всего этого он забывал о себе, о постоянной внутренней боли, о том, что жизнь безнадежно загублена.

На время болезни его жены заботы о доме были поручены миссис Элфридж, строгой немолодой женщине, которая служила у них и прежде; ей помогает служанка Эстер — она прислуживает за столом, открывает двери, вообще делает все, что понадобится; кроме того, за больной ухаживают две сиделки — одна дежурит ночью, другая днем. Обе веселые, здоровые, голубоглазые. Да, очень милые девушки — воплощение дерзкой, жизнерадостной юности, какой он сам никогда не знал. А все же они не нарушают его душевного равновесия. Этого с ним, пожалуй, уже никогда не случится.

Кроме того, о матери думают и заботятся дети — Уэсли и Этельберга (жена так назвала дочь против его воли)... Они давно обзавелись семьями, у обоих уже свои дети, и живут они в разных концах города. Теперь они ежедневно заходят, справляются о здоровье матери, а иногда проводят в доме родителей весь день или вечер. Этельберга предложила на время болезни матери совсем переселиться к ним и взять все

заботы о доме на себя, но миссис Хеймекер и слышать об этом не хочет: она любит командовать сама и пока не желает от этого отказываться. Она ведь не настолько больна, не утратила еще дара речи, а стало быть, может обо всем спросить и распорядиться. Кроме того, миссис Элфридж не хуже ее самой может позаботиться об удобствах и комфорте мистера Хеймекера.

Если уж говорить правду — а правда часто выходит наружу в критические минуты, — не заботы об удобствах не хватает ему, а понимания и любви. Ведь он никогда не любил жену — во всяком случае, не любил с тех давних пор, когда они жили в Маскигоне, штат Мичиган, где оба они родились, где познакомились, когда ей было пятнадцать лет, а ему — семнадцать. Теперь это кажется странным, но они полюбили друг друга с первого взгляда. Она была дочерью местного аптекаря — юная девушка, чуть моложе его и такая милая. Потом нужда заставила его уехать, чтобы как-то выбиться в люди, но он часто писал ей и все время представлял ее такой, какой она показалась ему с самого начала, даже лучше, — в его мечтах она была прекрасней всех на свете. Но судьба не торопилась помочь ему, не торопилась осуществить его мечты: много лет провел он вдали от Эрнестины, у него не было средств, чтоб жениться, а тем временем, сам того не сознавая, он стал по-иному смотреть на жизнь. Трудно сказать, как это случилось, но... Он жил в большом городе, многое увидел и узнал, а для нее все оставалось по-прежнему; он видел новых людей, смелее мечтал — и все это словно вступило в заговор против нее и против их любви, только он тогда не совсем понимал это. Как

видно, думалось ему, он всегда слишком медленно осознавал все значение происходивших в нем перемен.

Сколько раз впоследствии он говорил себе, что именно тогда надо было спохватиться и порвать с Эрнестиной. Чем дальше, тем более невозможным это казалось. Конечно, он причинил бы ей боль и самому ему было бы нелегко, но зато теперь ему не пришлось бы мучиться. Но нет, тогда он был слишком неопытен, слишком мало знал жизнь, слишком связан был условностями и предрассудками провинциального Запада. Он считал, что помолвка, даже если она потом окажется и неудачной, все-таки помолвка, и это обязывает. Порядочный человек не откажется от своего слова — так, по крайней мере, считают блюстители морали у него на родине.

Да, тогда он еще мог бы написать ей, поговорить с ней. Но, слишком деликатный и мягкосердечный, он не решился заговорить о своей ошибке. А потом было уже слишком поздно. Он боялся обидеть ее, разбить ее сердце, ее жизнь. А теперь... теперь... что стало с его жизнью! Несколько раз в те годы он приезжал в родной город и мог понять, что ошибся, и покончить с этим, и стать свободным, если б только у него хватило ума и мужества... Но нет, чувство долга, взгляды и верования, господствовавшие в провинциальном уголке, где он вырос, да и вообще в Соединенных Штатах, мысль о том, чего от него ждут, чего ждет и имеет право ждать она, — все это связало его по рукам и по ногам, и он так ничего и не сказал Эрнестине. Не сказал, что изменился, ни словом не обмолвился, что чувство его перегорело и обратилось в пепел, — вместо этого он женился на ней. Господи, до чего он был глуп!

Что ж, если верить ходячей морали, раз уж он сделал ошибку, его долг не отступаться от сделанного и не падать духом; уговор есть уговор, по крайней мере в браке, если ни в чем другом. А все-таки он не может не чувствовать себя несчастным. Просто не может. И вот все эти долгие-долгие годы, связанный теми же условностями и опасениями — что подумают, что скажут люди, — он вынужден был жить с ней под одной крышей, всячески ублажать ее, делать вид, что он счастлив с нею и что они — «идеальная пара». А на самом деле он был несчастлив, бесконечно несчастлив. Подчас его раздражал ее вид, ее чопорность, даже самое ее присутствие. Досадно было слушать, как доктор Сторм разговаривал с ним вчера утром: Сторм явно жалеет его, воображает, что он чувствует себя очень одиноким, что, если жена умрет, он останется совсем один — заброшенный и неутешный вдовец. «Кто позаботится о вас?» — словно говорили глаза Сторма... А зачем ему ее заботы, ему нужно только остаться одному, хоть на время, думать, что хочешь, поступать, как хочешь, забыть эти долгие, беспросветные годы, годы притворства, когда он не был самим собой.

Неужели так никогда и не вырваться из этого постылого заколдованного круга, никогда, до самой смерти? А немного погодя станешь упрекать себя за эти мысли... такие несправедливые, жестокие, бессердечные... Общественное мнение, от которого зависят репутация человека и его положение, беспощадно осудило бы его за эти мысли.

И за все эти годы он ни разу, ни единого разу не дал ей понять, что принес такую страшную жертву, что погубил себя. Как легендарный юный спартанец, он спрятал от всех взглядов лисицу, пожиравшую

его внутренности¹. Он не жаловался. Что и говорить, с точки зрения общепринятой морали он был примерным мужем. Да, конечно, стоит только вспомнить о его положении в обществе, о положении его детей. А жена? Вот и сейчас, во время тяжелой болезни, она не знает ни материальных, ни душевных забот и твердо верит, что он поистине примерный муж! За все эти годы она, видимо, ни разу не усомнилась в его любви, не почувствовала, что он так непоправимо несчастлив... Быть может, она не воображала, будто он любит ее так же пылко, как когда-то, в дни их юности, но все же не сомневалась, что ему хорошо с нею, что его радует и домашний очаг, который они вместе создали, и дети, которых они воспитали, и спокойная уверенность, что все так и будет до самого конца. До конца! Все эти годы она кроила свою жизнь, и жизнь детей, и, насколько могла, его жизнь по своей мерке и по своему вкусу и при этом всегда думала, что делает все, как он хочет или уж, во всяком случае, так, как лучше для него и для семьи.

Как свято соблюдала она общепринятые правила поведения! Она воображала, что в точности знает, как следует жить, а в сущности, знала только то, чему ее когда-то научили дома: у нее были типично американские представления обо всем на свете. Ее мнение о выборе знакомых, о воспитании детей и прочем почти всегда брало верх, даже когда он и не совсем соглашался с нею; в выборе удовольствий,

¹ Легенду о мальчике из Спарты, стойчески переносившем упомянутую муку, рассказал в качестве примера спартанского воспитания греческий историк Плутарх (ок. 46–120/130) в своих «Сравнительных жизнеописаниях» (Ликург, гл. 18) и, более подробно, в сборнике «Изречения спартанцев» (раздел «Изречения неизвестных спартанцев», § 35).

развлечений, друзей она неизменно придерживалась рамок общепринятого и тоже всегда умела поставить на своем. Бывали, разумеется, небольшие ссоры, всегда бывали — какая счастливая семья обходится без этого? — но он всегда уступал, почти всегда, и притом делал вид, что уступает охотно.

На что ж тогда жаловаться? Разве ей хоть когда-нибудь могло прийти в голову, что он несчастлив? Нет, конечно нет. Как все их родственники и знакомые и в родном городе, и здесь (а она была в высшей степени разборчива в отношении знакомств, искала расположения избранных и не обращала никакого внимания на всех прочих), она и поныне убеждена, теперь больше, чем когда-либо, что только она знает, что для него хорошо, что плохо, знает его подлинные мысли и желания. И ему оставалось только грустно и насмешливо улыбаться.

В ее глазах брак, во всяком случае их брак, — величайшее таинство, эти священные узы ничто не должно разорвать. Любить можно только раз в жизни. Раз уж ты взвалил на себя это бремя или даже только просил руки девушки — твой долг сдержать слово. Разорвать помолвку, изменить жене или хотя бы только быть невнимательным к ней — да это же преступление, святотатство! Такие подлые негодяи недостойны называться людьми, им не должно быть места на земле!

Ну а он? А его судьба? Судьба человека, который ошибся? Что ему остается, где он найдет покой и счастье? Здесь, на земле, или только где-то там, на небесах, среди ангелов? Эрнестина все еще верит в эти небеса. Какая комедия! Все их друзья уверены, что ее смерть будет для него большим несчастьем,

а как же иначе? Вот до чего доводит тупая, бессмысленная вера в прописную мораль. Подумать только!

Но и это еще не самое страшное. Нет. Страшней всего было с каждым годом все яснее сознавать, что он женился на ничтожной, ограниченной женщине, неспособной понять его взгляды, вернее, его мечты, чувства, — и однако он должен жить с нею до конца дней, потому что в юности совершил ошибку.

Да, конечно, у нее немало достоинств: она внимательна, заботлива, энергична, прекрасная хозяйка, в этом ей не откажешь, — и все же они чужие, тут уж ничего не поделаешь. Главное, он давно уже понял, что она женщина ограниченная, до мозга костей пропитана всяческими условностями, а он художник по натуре, он о многом грезит и мечтает, задумывается об отвлеченных материях, о вещах, которых она не понимает, не может понять, которым не сочувствует, о которых имеет лишь самое общее и смутное представление. Все особенности его искусства, красота и изящество форм, линий — разве это значит для нее хоть что-нибудь? И разве она когда-нибудь понимала, как много все это значит для него? Нет, конечно нет. Она никогда не знала всему этому настоящей цены. Архитектура? Искусство? Что они могли значить для нее? Даже если бы она и захотела, она неспособна разобраться в этом. И теперь он уже не может искать понимания и сочувствия ни у кого другого. Да в сущности, он никогда и не стремился к этому, ведь и жена, и все окружающие осудили бы его, да и сам он в какой-то мере считал, что это было бы дурно.

Но как же природа допускает, чтобы человек, чувства и стремления которого нельзя втиснуть в рамки прописной морали, выбрал себе в жены такую жен-

щину, как Эрнестина, неспособную понять его, заинтересоваться его душевным миром? Любовь ли слепа, как говорится, или это коварная природа намеренно терзает душу художника, не из вражды к нему, а ради красоты, которую порождает страдание, как песчинка, раня моллюска, рождает жемчужину... Пожалуй, так. Быть может, все построенные им значительные и прекрасные здания — по крайней мере, такими их считают все — потому и прекрасны и значительны, что он отдал им свое сердце, ведь в его жизни не было другой любви и другой красоты. Жесточайшая природа! Как мало она заботится о том, чтобы сбылись мечты человека — каждого человека в отдельности!

Когда он женился на Эрнестине, он был слишком молод, чтобы ясно представлять себе, чего он хочет от жизни и как с годами могут измениться его чувства; и рядом не было никого, кто помог бы ему советом, вовремя остановил. Дух времени был таков, что все вело к этой катастрофе. Казалось, это воля самой природы. Семья, дети — только в этом видели тогда начало и конец всего, цель и смысл бытия. Что за нелепая теория! Потом он понял, какую ошибку совершил, и, хоть привычные представления и обстоятельства, казалось бы, уже непоправимо связывали его, он утратил покой, душевное равновесие, но ни разу по-настоящему не возмутился — ни разу.

Наоборот, он все это скрывал от жены, старательно скрывал, потому что очень жалел ее; но он жаждал красоты, той душевной и телесной красоты, которой она совсем не обладала, и эта жажда была мучительна, а под конец стала просто невыносима. Он все мечтал, мечтал как одержимый о чем-то ином, неиспытанном. Неужели мечты никогда не сбываются,

неужели так никогда ничто и не изменится? Как страшно! Ведь жизнь коротка, а потом уже ничего не будет, ничего! Спору нет, Эрнестина была когда-то очень хороша, хотя время показало, что ни физически, ни духовно она не привлекала его по-настоящему. Но разве теперь легче оттого, что она была хороша когда-то? Ничуть не легче. В сущности, вот уже больше двадцати семи лет, как жизнь с Эрнестиной для него тяжкое бремя, а мечта о чем-то ином с годами становилась все более властной, все более неотступной...

И вот он уже стар, а она, быть может, умирает, и не все ли равно теперь, что случится с ним или с нею; впрочем, может быть, и не все равно... Если бы только стать свободным, хоть ненадолго, совсем ненадолго, прежде чем умереть.

Быть свободным! Свободным!

Как мучительно влекла его красота других женщин, их лица, взгляды, а все же он отнюдь не намерен был преступать законы морали: ни по своему душевному складу, ни по чисто практическим соображениям он просто не мог пойти на это; и однако, к его досаде и возмущению, жена, по какой-то странной логике опасаясь, как бы он не изменил ей, всегда старательно внушала ему, что он не из тех мужчин, которые нравятся женщинам, — ему не хватает физической привлекательности, какого-то особого мужского обаяния, и поэтому ни одна молодая и интересная женщина не могла бы его полюбить. Подумать только, она внушала это ему! Ему, к которому обращались пытливые, зовущие взгляды стольких женщин!

Она уверяла, будто вышла за него замуж прежде всего потому, что жалела его. Он не спорил — пусть

она думает так, ведь он сам жалел ее. То одна, то другая женщина искала его общества, улыбалась ему призывно и вкрадчиво, — а жена все повторяла, что он никак не Дон Жуан: такой неловкий, медлительный, неинтересный, женщинам попросту скучно с ним — всем женщинам, кроме нее!

И хоть в этом не было никакой нужды, она упорно твердила одно и то же, борясь с химерами, с опасностью, которая чудилась ей в будущем, — а ведь он не давал ей к этому никакого повода и никогда не собирался ей изменять, никогда. Так она пыталась отравить его душу сомнением: пусть он поменьше верит в себя, в свои силы, в свое искусство... И все же, все же... как преследовала его красота женщин, их глаза — они обещали безграничное, невыразимое счастье. Почему, почему его жизнь сложилась так неудачно?

Да, он хорошо понял горькую истину: природа совершенно равнодушна к судьбе человека; ты живешь, действуешь, стремишься к чему-то, движимый властным инстинктом, но только этот инстинкт она и дала тебе, а счастлив ты, нет ли — до этого ей нет дела. Отвечай сам за себя, раз и навсегда определи свой путь и уж не сворачивай с него, а не можешь — пропадай, обратись в ничто, тебя ждет духовная смерть. Природе нет до тебя дела. «Блаженны кроткие»¹ — да, конечно. А вернее: блаженны сильные, ибо они сами творцы своего счастья. Все годы он знал это, надеялся на что-то, но не действовал, и все шло своим чередом, и только он один страдал. Он всегда понимал, что жизнь его сложилась неудачно, и однако, связанный привычными условностями, не пытался действовать, на это у него не хватало решимости. У него не

¹ «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5: 5).

хватало силы воли — вот в чем суть, и всегда он был таким. Словно пойманная птица, словно зверь в клетке, смотрел он из своей неволи на людей, которые думают и делают, что хотят. Сколько раз в гостиных, на улице, даже у себя дома встречал он женский взгляд, улыбку, которые, казалось, обещали понимание, сочувствие — все то, чего ему так не хватало. И все-таки из страха нарушить свой долг, запреты религии, прописи морали, из страха перед тем, что скажут, что подумают о нем, помня об Эрнестине, о ее спокойствии, о том, как она верит в него, о собственной карьере и о будущем детей, — он, словно отшельник, гнал от себя все соблазны и старался забыть, не думать о них. Порою это было тяжело и грустно, но так было.

Взгляните на него теперь — он еще не так стар, нет, он еще не совсем старик, но он устал от жизни и уже почти ко всему равнодушен. Все эти годы он мечтал, так мечтал о подруге с чутким и нежным сердцем, о женщине, которая могла бы понять его, которой было бы близко и дорого все в нем — каждое его чувство и каждая мысль, его талант, его взгляды на жизнь и искусство... Ведь есть же где-то такая женщина! Но все эти годы с ним всегда, неотступно была Эрнестина — и вот что с ним стало...

Не то чтобы она была неприятна, противна ему, нет, этого не скажешь... просто она не та женщина, о которой он мечтал... Для него так много значит красота во всех ее проявлениях, формы, краски, и так много значит женская красота, прекрасное, совершенное тело и прекрасный ум, которому доступны были бы мысли и оттенки столь же утонченные, как те, что подчас знал и он... но нет, ему так и не привелось близко узнать такую женщину. Нет, не при-

велось, хотя он мечтал об этом так долго. Он никому не смел признаться в этом, разве что самому себе. Это было бы безрассудно, поставило бы его вне общества: в его кругу (вернее, в ее кругу, ведь их знакомства — дело ее рук) подобные мысли недопустимы.

Но в том-то и беда, что и сейчас он не может решить, не преступны ли даже самые его мысли, вот эти затаенные жалобы, недовольство судьбой. Разве муж и жена не должны быть верны друг другу независимо от того, счастливы они или нет? Разве нет такого внутреннего закона, на котором строится союз мужчины и женщины: любить только один раз в жизни? И перед этим ничтожны все мысли и стремления, все страдания человека, каковы бы они ни были. Так говорит церковь. С нею согласны и закон, и общественное мнение. Преступить через это — значит стать лицом к лицу со множеством неодолимых препятствий, неразрешимых задач, принести близким страдания, испортить будущее детей. И разве в глазах окружающих, да и в своих собственных, не будет лучше, порядочнее во всех отношениях — исполнить свой долг, лишь бы не разрушать семью, не причинять столько горя, сдержат раз данное слово, хотя бы сердце разбилось при этом? Так он думал или, по крайней мере, поступал так, словно именно эта мысль руководила им... И все же... как часто его мучили сомнения!

И еще. Конечно, с общепринятой точки зрения миссис Хеймекер хорошая, верная жена; притом на первых порах она была достаточно мила и привлекательна, чтобы его жизнь не казалась невыносимой, и все же он мучился и тосковал. А потом пошли дети. Первенец, которого назвали Элуэлл в честь какого-то родственника — ее, а не его, — прожил всего

два года; потом родился Уэсли, потом Этельберта — он терпеть не мог это имя! Он хотел назвать дочь Отилией, своим любимым именем, или, может быть, Джанет, в память о своей матери.

Странно, хоть его и мучили неотступная тайная тревога и неудовлетворенность, рождение детей и смерть бедного маленького Элуэлла крепче привязали его к семье; он чувствовал, что должен заботиться о малышах, и даже радовался им... хотя, как ни грустно, это не сблизило его с женой; а если бы не дети, он, пожалуй, не вытерпел бы и ушел от нее. С малышами было много хлопот, но в первые годы они были такие милые, забавные. Особенно Элуэлл. Стоило губами пощекотать его шею — и он так комично морщил свой крошечный нос от удовольствия, заливался таким громким, счастливым смехом, что нельзя было не радоваться, глядя на него. В ту пору он все больше чуждался жены, хоть и гнал от себя эти мысли, дурные, безнравственные, сурово осуждал себя за них, чувствуя, что есть в нем что-то враждебное общепринятым законам, порядкам, обычной благопристойной жизни, какую живут все вокруг! И однако, неприязнь к жене не помешала ему горячо полюбить сынишку. Инстинктивно, сам того не сознавая, он искал в ребенке утешения; кто знает, кем или чем было послано ему это целительное средство для незаживающей сердечной раны? Элуэлл завладел его мыслями, его сердцем, — казалось, он нашел в малыше понимание, сочувствие, любовь, нежность — все то, что дала бы ему любимая женщина и чего ему так не хватало. Больше всего Элуэлл любил взобраться на колени к отцу или прижаться головой к его плечу — никогда он так не льнул к матери. И если отец собирался выйти из дому, Элуэлл

был уже тут как тут и протягивал ручонки, чтобы он взял его с собой. Удивительно, как этот малыш любил его, — гораздо сильнее, чем свою мать, просто не мог жить без него. Да и отец отвечал ему тем же. Ему казалось, что сынишка не так уж и похож на Эрнестину, скорее на него и на его покойную мать. Хотя, конечно, он был бы не против, если бы ребенок походил на свою мать. Нет, нет. Он вовсе не так мелочен. Когда Элуэллу еще не было двух лет и он только начинал говорить, отец научил его забавной старой песенке: «Жили-были три котенка, три пушистые зверька...» Доходя до слов «им хотелось», он останавливался и спрашивал: «Чего?» — «Пилоська!» — в восторге кричал малыш, и это, конечно, должно было означать: пирожка.

Какие это были счастливые дни, когда он гулял с Элуэллом, взяв его на руки или посадив на плечо, и вечера, когда малыш засыпал у него на коленях... И Эрнестина была тут же и радовалась, что он так любит сына и ее, главное — ее. Но как раз в этом она ошибалась: даже тогда он не любил ее. Всю свою нежность он отдал Элуэллу, а жена видела в этом свидетельство его растущей, непреходящей любви к ней — странная у нее была логика. Как видно, таковы женщины, во всяком случае некоторые.

А потом мальчик вдруг тяжело заболел; это была какая-то загадочная болезнь, возбудитель которой еще неизвестен, — быть может, детский паралич... и Элуэлла не стало. И то, что прежде было им, отвезли на заброшенное, неприветливое кладбище близ Вудлона. Как это было страшно! И с каким отчаянием предался он тогда горьким, безнадежным мыслям о бренности всего земного. Казалось, вся красота, вся радость ушли из его жизни навсегда.

«Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения, — читал в день похорон священник, приглашенный в дом по настоянию миссис Хеймекер. — Ибо жизнь наша проходит как тень и нет нам возврата от смерти»¹.

Да... маленький Элзуэл прошел как тень. И как ни велико было его собственное горе, Хеймекер в первый и единственный раз за все время, что они были женаты, от души посочувствовал Эрнестине — ведь она была в таком отчаянии и после похорон так горько рыдала, припав головой к его плечу. Страшно было смотреть, как она убивалась. Потерять первенца — что может быть горше для матери? Почему, почему он не попытался сделать так, чтобы Эрнестина стала по-настоящему близка ему? И ведь в то время она казалась лучше, мягче, добрее, умнее, чем когда-либо, он и не думал, что она может быть так достойна уважения и любви. Во время болезни сына она не знала ни минуты отдыха, ночами не смыкала глаз, ухаживала за ним так преданно, так нежно, делала все, что только может сделать мать, которая борется за жизнь своего ребенка. Но и тогда он не мог по-настоящему полюбить ее. Пусть это и горько, и бессердечно, но он не мог ее любить. Он только думал о ней лучше, чем прежде, и очень жалел ее. Что за проклятье, под какой несчастливой звездой рождается человек, что так запутаны его мысли и чувства? Почему за достоинства человека, за его добродетели нельзя полюбить его, привязаться к нему, преодолеть неприязнь? Почему? Он и хотел бы относиться к Эрнестине по-иному, но так и не смог ничего изменить.

И однако, казалось, никогда еще он так не понимал и не ценил ее, как в то время: она прекрасная

¹ Прем. 2: 1, 5.

хозяйка, аккуратная, бережливая, даже до известной степени понимает и чувствует красоту, ей свойственно похвальное стремление что-то делать и что-то значить... но только ему были не по душе эти ее честолюбивые стремления, и он не мог не видеть, что она существо безнадежно заурядное и ограниченное. Эрнестина никогда не знала душевных порывов, сильных чувств, ей не хватало внутреннего благородства. Что бы он ни говорил, что бы ни делал, она неизменно сводила все к денежным расчетам, к тому, что скажут, что подумают соседи, как это отразится на репутации ее и мужа; он знал, что ум и талант можно встретить и у человека без денег, без доброго имени, без положения в обществе, а она никак не могла этого понять, и сколько он ни пытался, никакими силами не мог переубедить ее — она просто не желала ничего слушать.

Вот, например, большие художники. Иные из виднейших архитекторов, и сейчас живущих здесь, в городе, — это люди со странным, даже неприглядным прошлым, а мало ли таких случаев знает история... Но нет, Эрнестине не понять этого, да и что ей история? Ей непонятны и неинтересны темные, безрадостные страницы прошлого, и едва ли она верит им. А что касается искусства и людей искусства... нет, никогда она не поверит, что мудрость и талант художника, благородство души могут зародиться в условиях, которые иначе как дурными и пагубными не назовешь.

Взять хотя бы историю с молодым Зингарой. Они познакомились больше тридцати лет назад, когда Зингара впервые приехал сюда, в Нью-Йорк; молодой, талантливый, он стремился стать выдающимся архитектором — но был очень беден, плохо и не-

брежно одет и производил не слишком благоприятное впечатление. Хеймекер встретился с ним за несколько лет до своей женитьбы в мрачной, неудобной конторе архитекторов Пайна и Старборда и сразу почувствовал к нему симпатию; но Зингара не выпускал изо рта папиросу, вид у него был запущенный и неопрятный, в кармане ни гроша — и, хотя к тому времени, как Хеймекер женился на Эрнестине, он был знаком с Зингарой уже около четырех лет, она не пожелала, чтобы он бывал у них. В ее глазах он был ничтожеством, неудачником, которому никогда не добиться успеха. Однажды, проходя мимо какого-то дешевого ресторанчика, она заметила Зингару в обществе сомнительного вида девицы — после этого она и слышать о нем не хотела.

«Пожалуйста, дорогой, никогда больше не приводи его к нам», — потребовала она, и, чтобы сохранить мир в доме, он уступил. А что получилось? Зингара с тех пор стал известным архитектором, но по милости Эрнестины они теперь, разумеется, совершенно чужие друг другу. Это он, Зингара, выстроил «Клуб Эскулапа», и необыкновенно изящный концертный зал, и Уэллс-билдинг с его чудесной башней, такой стройной, устремленной ввысь, точно мысль поэта. Но при этом Зингара давно уже замкнулся в себе, живет отшельником, мечтателем, как и он, Хеймекер, и совершенно равнодушен к тому, что подумают, что скажут люди.

Быть может, не просто душевная глухота, невосприимчивость к каким-то более утонченным сторонам и явлениям жизни, а требовательное упрямство, шедшее от ограниченности, заставляло Эрнестину непременно бывать всюду, где можно встретиться с преуспевающими людьми, а это для нее означало —

с людьми богатыми, — и, как правило, это были личности заурядные или даже совсем ничтожные. И эта ее черта возмущала его больше всего. Сколько раз он пытался объяснить ей, что человеческие достоинства бывают подлинные, а бывают и мнимые и что по-настоящему достойный человек редко обладает большим богатством.

Но нет. Сколько раз она приписывала необыкновенные достоинства людям, у которых, в сущности, кроме туго набитого кошелька, ничего за душой не было.

А как росли, воспитывались, начинали свою семейную жизнь их младшие дети — Уэсли и Этельберта, сколько тревог и огорчений принесло ему все это! Маленькими оба были очень милы и близки ему, хотя ни один из них не завладел его сердцем так, как Эллуэлл. Но дети подрастали, и как-то так случилось, что между ними и отцом встала Эрнестина. Прежде всего она приучала их держаться очень чопорно и церемонно, они не смели ни двинуться, ни заговорить просто, естественно; так воспитывали детей разбогатевшие выскочки, с которыми он ее познакомил; в этих семьях все казалось ей превосходным, хотя ему многое там было не по душе. Архитектура — профессия, которая подчас ставит человека в двусмысленное положение: сталкиваешься с самыми разными людьми и из чисто практических соображений приходится быть с ними любезным, особенно если твоя карьера только начинается. Потом пришла пора отправить детей в школу, но в какую? Он думал определить их в обычную городскую школу, в какую ходили когда-то и он и Эрнестина, — ведь их родители были люди простые, небогатые. Но она решила иначе: теперь у них есть известный недостаток

и поэтому надо отдать детей в частную школу, причем не в ту, которую выбрал бы он и даже она сама, а именно в ту, где учились дети Барлоу и Уэстервелтов, — она была в дружбе с этими состоятельными семьями, и все, что они делали, казалось ей превосходным.

Семейство Барлоу! Люди богатые, но грубые и ничем не примечательные, они нажились на изготовлении патентованных лекарств где-то на Западе, а потом приехали в Нью-Йорк пускать пыль в глаза; они охотно завязали более тесное знакомство с Хеймекерами — он построил для них особняк, и у него было уже имя; хотя, пожалуй, они симпатизировали не столько ему, сколько Эрнестине. Они были такие нудные, такие несуразные, невыносимо тупые, и однако они нравились Эрнестине, она считала их людьми порядочными, достойными, говорила, что они очень хорошие и напоминают ей ее родных, оставшихся на Западе. Но Барлоу отнюдь не обладали всеми этими качествами, просто ей так казалось. Они и в самом деле были на свой лад даже неплохие люди, только не отличались вкусом. Юного Фреда Барлоу определили в дорогую Гэйллардскую школу близ Морристауна; мальчиков там обучали приличным манерам, правилам хорошего тона, — этим, пожалуй, все и ограничивалось, хотя Эрнестина уверяла, что их воспитывают добрыми христианами. Итак, пришлось и Уэсли отправить туда — ведь это была самая лучшая школа.

Так же точно и Этельберту пришлось определить в Брайарклиффскую школу близ Уайт-Плейнса, потому что там училась Мерседес Уэстервелт, пустая, тщеславная девчонка. Подумать только! Все это было так глупо, выглядело так жалко. Он хорошо по-

мнит, как долго и искусно Эрнестина подготовляла почву, уверяла, что это так важно для будущего Этельберты, пускала в ход и самые хитроумные доводы и слезы, старалась всячески подольститься к нему. Когда она хотела чего-нибудь добиться от него, ей ничего не стоило расплакаться или сделать вид, что она вот-вот расплачется; и хотя он уже привык к этим притворным слезам и понимал, что им невелика цена, он все-таки не мог устоять против них, и жена прекрасно знала это. Невольно он чувствовал себя и тронутым, и обезоруженным. Тут он ничего уже не мог поделать, хотя его и возмущало, что жена старается разжалобить его, чтобы взять над ним верх. Поистине миссис Хеймекер порой бывала хитра и безжалостна, как сам Макиавелли, и при этом воображала, что она воплощение нежности, любви, самопожертвования, великодушия и тысячи других добродетелей, — все они служили для достижения ее собственных целей. Быть может, с определенной точки зрения такой настойчивостью следует восхищаться, но его это всегда возмущало. Но как быть, если человек неспособен понять и увидеть самые серьезные свои недостатки и противоречия?

А с другой стороны, к тому времени они уже столько лет были женаты, что, казалось, просто невозможно бросить ее. Притом они уже занимали определенное положение в обществе, хотя, в сущности, это было только его заслугой, да и то он мог бы достичь большего. При всей своей снисходительности он понимал, что Эрнестине никогда не привлечь в дом людей действительно выдающихся. Но как бы там ни было, даже намек на разрыв между ними, на отдельную жизнь или неверность (хотя он, в сущности, никогда не собирался изменять ей) повлек

бы за собой бесконечные пересуды, повредил бы ему, пожалуй, в глазах общества, отразился бы на его делах. Все их влиятельные друзья, бывшие его клиенты, отвернулись бы от него. Их жены, да и сами они, побоялись бы продолжать знакомство с человеком, подрывающим моральные устои, и изгнали бы его из своей среды. Какой разыгрался бы скандал: известный архитектор грубо порвал с такой доброй, преданной и любящей женой! И пожалуй, это и в самом деле было бы грубо и жестоко. Трудно сказать — так все смешалось и перепуталось.

А женитьба Уэсли на Ирме де Го? Глава семейства, Жорж де Го, в прошлом всего-навсего спекулянт недвижимостью и маклер, был примечателен только тем, что у него водились деньги. Его дочь Ирма — вульгарная, грубая, чувственная — была, несомненно, хороша собой и считалась богатой невестой. Ну а еще что? Ничего, буквально ничего. А ведь у Уэсли на первых порах как будто были какие-то духовные запросы. Надо думать, что Эрнестина сблизилась с миссис де Го — женщиной ничтожной и недалекой — главным образом ради Уэсли. Так или иначе, обе они всячески поощряли Уэсли и старались, чтобы Ирма благосклонно принимала его ухаживания. А что из этого вышло? Жорж де Го обанкротился и оставил дочь без гроша. Ирма с самого начала интересовалась чем угодно, только не карьерой Уэсли. Она подражала людям, которые казались ей самыми блестящими и преуспевающими среди богатых выскочек, — даже Эрнестина не мечтала о знакомстве с такой шикарной, ни в чем не знавшей удержу золотой молодежью. Ирма и по сей день только и способна думать что о приемах, загородных клубах, театрах.

Уэсли давно уже понимает это. Он теперь инженер, служит в одной из крупнейших строительных компаний, положение его довольно скромное. Но даже Эрнестина, которая сама сосватала их, воображая, что они будут идеальной парой, теперь имеет зуб против Ирмы. Она разобралась в невестке лишь через несколько лет, когда та совершенно перестала считаться с ней, а вначале только и разговору было что о достоинствах семьи де Го. Господи, кто же не хотел бы породниться с де Го, где сыскать лучшую невестку, чем Ирма? А потом между Ирмой и Уэсли начались нелады, и теперь Эрнестина утверждает, что это Ирма мешала и мешает Уэсли выдвинуться. Не такая жена нужна ему. Несмотря на все свои предрассудки, Эрнестина едва ли не желала, чтобы Уэсли разошелся с Ирмой. Но попробовал бы ее собственный муж заговорить о разводе!

А ведь с самого начала Эрнестина хотела, чтобы сын женился на Ирме именно из-за положения де Го. Теперь Уэсли, не думая об отдыхе, хватается за любую работу, и все для того, чтобы Ирма могла вращаться в обществе светских кутил, и отнюдь не первосортных. И притом она еще, как видно, неверная жена. Есть слишком много оснований так думать. Да, но стоит ли ему теперь вмешиваться в их дела? Чем тут поможешь? Уэсли просто надоел Ирме, вот и все. Она, несомненно, уже смотрит на сторону.

Ну а как было с Этельбертой? Одно имя чего стоит! Эрнестина очень хотела сделать дочь счастливой и при случае поставить это себе в заслугу, а что вышло? Правда, в материальном отношении замужество Этельберты несколько удачнее, чем женитьба Уэсли, но разве она счастлива? Этот Джон Келсо —

СОДЕРЖАНИЕ

Освобождение. <i>Перевод Р. Облонской</i>	5
Макьюэн из племени блестящих рабовладельцев <i>Перевод Д. Кальницкой</i>	50
Негр Джефф. <i>Перевод О. Холмской</i>	73
Пропавшая Фиби. <i>Перевод С. Антонова</i>	109
Синица в руках. <i>Перевод Д. Кальницкой</i>	133
Репортаж о репортаже. <i>Перевод С. Антонова</i>	162
Старик Рогаум и его Тереза. <i>Перевод Д. Кальницкой</i> ...	205
Западня. <i>Перевод М. Урнова</i>	233
Путешествие на борту «Неистойвой лени» <i>Перевод Д. Кальницкой</i>	305
Женился. <i>Перевод Н. Rogовской</i>	329
Когда старый век был юным. <i>Перевод С. Антонова</i>	360